Третий звонок

Автор:
Михаил Козаков

Третий звонок

Михаил Михайлович Козаков

Зеркало памяти

В этой книге Михаил Козаков рассказывает о крутом повороте судьбы – своем переезде в Тель-Авив, о работе и жизни там, о возвращении в Россию… Израиль подарил незабываемый творческий опыт – играть на сцене и ставить спектакли на иврите. Там же актер преподавал в театральной студии Нисона Натива, создал «Русскую антрепризу Михаила Козакова» и, конечно, вел дневники. «Работа – это лекарство от всех бед. Я отдыхать не очень умею, не знаю, как это делается, но я сам выбрал себе такой путь». Когда он вернулся на родину, сбылись мечты сыграть шекспировских Шейлока и Лира, снять новые телефильмы, поставить театральные и музыкально-поэтические спектакли. Книга «Третий звонок» не подведение итогов: «После третьего звонка для меня начинается момент истины: я выхожу на сцену…» В 2011 году Михаила Козакова не стало. Но его размышления и воспоминания всегда будут жить на страницах автобиографической книги.

Михаил Козаков

Третий звонок

Вместо предисловия

Завтра – четырнадцатого октября 1954 года – мне стукнет двадцать лет!!!!!

А чему собственно ты радуешься? Хоть тебе и двадцать лет, но как ты был дурак, так дураком и остался! Спрячь этот «мудрый» диалог и никому не показывай, а когда стукнет тебе сорок, проведи такое же «отчетно-перевыборное» собрание и поставь на повестку тот же вопрос, может быть тогда он будет разрешен более оптимистично (в чем лично я сомневаюсь), но тем не менее это и есть мое искреннее пожелание в твой «славный юбилей»!

Любящий тебя до конца дней наших с тобой

М.К.

14 октября 1954 года

С некоторым опозданием «отчетно-перевыборное» проведено (4 апреля 75 г.). Слушали заявление 1954 г. и поражались: а) что бумажка двадцатилетней давности сохранилась, б) что юноша в двадцать лет был самокритичен… в) не без горечи заметили, что он, тем не менее, радовался!

г) Постановили: сохранить означенный документ еще на двадцать лет и если буду жив («Е.Б.Ж.» – как писал Л. Толстой) еще раз устроить заседание. Резюме: что касается означенного вопроса, полагаю, что человек не может сделаться умнее или глупее – он такой, каким родился…

М.К.

14 окт. 1984 год – 50 лет. Внеочередная запись, в надежде дождаться и положенного срока.

В целом всё написанное ранее – справедливо. Меняется только интонация, что естественно и вполне.

Сегодня могу сказать только и ото всей души: хвала Тебе Господи! Всё справедливо. Ты меня, грешного не оставил…

А это главное…[1 - Текст письма предоставлен К. М. Козаковым и публикуется впервые с сохранением особенностей авторской пунктуации. – Примеч. ред. (с. 25)]

М.К.

Глава первая

В поисках земли обетованной

Что сказать мне о жизни?

Что оказалась длинной…

И. Бродский

В моей причудливой и, возможно, противоречивой судьбе случались воистину неожиданные повороты. Но лишь на первый взгляд неожиданные. Если говорить честно, все мои уходы из театра в театр, «измены» театру с телевидением, которому я отдал годы жизни, расставания с режиссерами, у которых учился, продиктованы, часто интуитивно, лишь одним: желанием быть самим собой и остаться таковым до последнего дня. Я менял театры, города и даже страны…

Боже праведный, ну почему так отвратительно под моими окнами вопят эти твари? Мяучат, визжат, кричат, истерят, сладострастничают. Спасибо, еще не рычат. Засыпаешь и просыпаешься рано утром под этот кошачий концерт. Хорошо еще, если лег спать в нормальном состоянии… А вот если депрессуха, если скребет на сердце и душу словно подгрызает мышь? Сил нет слышать эту многоголосицу. И откуда их столько взялось?! И всё плодятся, плодятся, перебегают улицу, грязные, с отвисшими животами, копаются по дворам в черных пластмассовых бачках, ищут объедки, переворачивают бачки на асфальт, забиваются на ночь под спящие автомобили. «Тель-авивские кошки» – хорошее название для не снятого мной фильма о нашем американизированном

Баку…

Я люблю этот город по субботам. На улицах – ни души, разве что пройдет принаряженное тихое кипастое семейство в ближайшую синагогу; два черных раввина в меховых шапках прокудахчут о чем-то своем, переходя улицу где придется; прошелестит одинокая машина. Зато на тель-авивском пляже – столпотворение.

Я предпочитаю бывать там в будни. Город с моря смотрится цветной рекламной открыткой. Заплывешь подальше и видишь спичечные коробки роскошных отелей, что веером развернулись по золотому берегу моря на фоне туго натянутого голубого шелкового задника. Цветные пляжные зонтики с рекламой банков и супермаркетов, приморские кафе, белые столики и стулья. После холодного, освежающего душа приятно зайти ранним-преранним утром в кафе, где тебя знают, заказать легкий завтрак, кофе «капучино», потрепаться с молоденькой официанткой, которая мечтает поступить в театральный институт, раскурить трубку и, раскрыв роль, учить текст, записывая на полях «рыболовными крючками» новые для тебя ивритские слова. Забавно думать, что еще четыре года назад я только русскими буквами мог записать в тетради длинный монолог Тригорина, переведенный на иврит. А теперь уже пошли в ход и «рыболовные крючки». «Каждый пишет так, как он может», – сказано у Антона Павловича Чехова в пьесе «Чайка».

Когда находишься на подъеме, пребываешь в эйфории, все происходящее, происходившее с тобой представляется разумным, закономерным и, несмотря на все трудности и превратности пережитого, окрашивается в розовые тона. Преодоленное внушает чувство гордости за себя: не сломался, вынес, добился. В эти минуты подъема даже не тянет писать – и слава богу! В противном случае записанное не соответствовало бы истинному положению вещей. Анализ всего случившегося был бы неглубок, односторонен, и вместо «тьмы низких» и объективных истин невольно возник бы «нас возвышающий обман». Записывать в дни глубокой депрессии представляется тоже неверным: общая картина будет искажена, далека от истинного положения дел. Плюс поменяется на минус с большим количеством восклицательных знаков. В эти черные периоды браться за перо сил уже не хватает и думаешь лишь о самом страшном – чего одновременно желаешь и боишься. Все кажется трагической ошибкой. В этом состоянии забываешь обо всех преимуществах теперешнего положения. Пережитые здесь радости представляются самообманом. Старость, болезни наваливаются на тебя, грехи и ошибки всей жизни встают, как черные горы… И

тут не до писаний. Не до анализа.

Сегодня подходящий момент для попытки что-то записать. Дома, в общем, спокойно, нет панического страха – по крайней мере за ближайшее будущее. Да и в отдаленном что-то светит: московско-израильский совместный спектакль, гастроли в Питере и, как минимум, еще один студенческий спектакль в театральной студии в Израиле. Здоровье? Оно не блестяще, однако держусь. Конечно, все это весьма и весьма эфемерно и, как карточный домик, может рухнуть в любую минуту. Тому уже были примеры в моей четырехлетней израильской жизни.

Боже, сколько планов потерпело крушение! Сколько потраченных усилий, сколько унижений! Кажется, что за всю свою тридцатичетырехлетнюю профессиональную жизнь, начиная со студии МХАТа до предотъездной премьеры фильма «Тень» в Москве, столько не испытал, не пережил и не наунижался так, как всего за четыре с лишним года израильской жизни. И возникает закономерный вопрос: зачем? Во имя чего? И как все это могло случиться со мной? Ведь если эти нравственные страдания, весь этот горький опыт не перевоплотятся во что-то, имеющее отношение к искусству, то зачем он был, этот опыт? Зачем?

Все, если вдуматься, очень просто. В 88-м остался один, испугался одиночества, сошелся с молодой женщиной, родился сын, образовалась семья – сообщество из пяти человек, двое из которых пенсионеры из Кишинева. Я испугался жизни в Москве, испугался за всех, так как главная ответственность ложилась, разумеется, на меня. Жена училась в ГИТИСе на заочном без всяких перспектив на будущее. И, поддавшись страхам, одурев от усталости, бежал в Израиль со всей своей «мишпухой» в надежде… В надежде на что? А вот это мне теперь и самому неясно. Действительно, на что? На русскоязычный театр «Гешер»? На успех у русскоязычной общины, которая казалась огромной и достаточной, чтобы хотя бы первое время прокормиться за счет концертов? А там, думал я, через год-два посмотрим, куда вырулим и что за это время произойдет в России. В крайнем случае вернемся – все теперь так делают: уезжают поработать «за бугор», увозят детей, а потом возвращаются домой, передохнув и заработав какие-то деньжата в твердой валюте. Ведь не навсегда же мы уезжаем, не в эмиграцию – с концами. Новую, иную жизнь понюхаем, капитализм все-таки, не совок осточертевший…

Девяносто первый год… «Союз нерушимый республик свободных» еще в перестройке. Прилавки пусты, я не в театре, да одним театром и не прокормишься. Телекино, которым я занимался, рушилось на глазах, ролей в большом кино тоже не предлагали. Концертная деятельность заглохла, телефон молчал. Вообще было твердое ощущение, что в СССР теперь не до искусства, во всяком случае не до того, которым я всегда занимался. Коммерциализация всего и вся, серый ком бескультурья, видеоклиповщина как принцип потребления и производства, выход на арену новых кумиров: ярмольников, рудинштейнов, алибасовых. (Фамилии можно заменить – суть понятна.) Наиболее сильные и успешные из нашей среды – Рустам Ибрагимбеков, Олег Янковский, Никита Михалков, Андрей Битов, Юрий Башмет (фамилии можно заменить – суть понятна) – строят свою жизнь и на внешнем, валютном рынке, что мне лично было не дано, не светило. Сергею Юрскому светило. Мне – нет. Демидовой это удавалось. Мне – нет. А на мне семья, и главное – годовалый сын.

Вот тогда-то мы снялись с якоря и совершили то, о чем уже пятый год я думаю, думаю почти ежедневно, и нет у меня ясного ответа на сей, видать, неразрешимый, вроде гамлетовского, вопрос. Сотни, тысячи разных ответов возникают в зависимости от положения моих дел здесь, от всеобщего положения дел там, сначала в СССР, потом в СНГ, затем в России, глядишь, в российском княжестве, а единого, ясного ответа нет и, наверное, быть не может. В период депрессии ответ однозначный: произошедшее со мной – трагическая ошибка. В минуты подъема кажется, что уезжать все-таки стоило. Хотя бы из-за Мишки. А теперь и из-за появившейся здесь маленькой Зойки. Ведь они уже часть меня самого. Да и обрыв связи с Россией – пока занавес не опущен – относительный: можно жить здесь и хотя бы иногда работать там. Что-то поставить, сыграть, сняться, напечататься, наконец. И интерес ко мне пока еще кой-какой есть. Старые работы повторяют по телевидению, иногда даже специальные передачи делают – случай-то необычный! Уехал пожилой известный актер и режиссер в чужую восточную страну, без знания языка, и вот, гляди-ка, пока не погиб, не спился, работает по профессии, преподает, ставит, играет. Народил еще одного ребенка, гостей из России у себя в тель-авивском доме принимает и на своей машине их в отель отвозит. Его жена «Русскую антрепризу» держит, из России гастроли театров организует. Есть о чем подумать, во всяком случае, посплетничать от нечего делать.

А что же на самом деле?

В моменты душевного подъема, как правило, всегда связанного с возможностью ставить, играть, преподавать здесь, в Израиле, представляется, что я все-таки не изменил себе, что я все тот же одинокий волк, который, будучи занят борьбой за пресловутое искусство в себе, не изменил ему, искусству. Осознание этой мысли успокаивает, приносит радость и веру в правильность моего решения.

А когда эйфория улетучивается как дым, тогда особенно громко начинают под окном вопить кошки…

Сразу оговорюсь: я не замахиваюсь на научное исследование об исходе 90-х, об алии 90-х, о нашей жизни здесь, на Земле обетованной, где почти у каждого есть обед и ванная. Я не историк, не сионист, хорошо подкованный в теории этой проблемы, не правозащитник и не диссидент. Я даже плохо знаю, точнее, почти не знаю историю культуры идиш в России. Я просто один из многих. Я обыватель. Что-то читал, о чем-то слышал. Читал поэзию Переца Маркиша, разумеется в переводах, любил прозу Шолом-Алейхема, бывал на выставках Шагала, интересовался историей театра Михоэлса, разглядывал эскизы Тышлера и Альтмана.

Мой отец, еврей по происхождению, родившийся на Полтавщине, не знал идиш. Так что же говорить обо мне? Понятие «еврейские корни» для меня, полуеврея, – это скорее ощущение принадлежности к другим, почему-то не вполне своим в России. Даже пресловутый пятый пункт лично меня почти не волновал: в паспорте – по матери-дворянке – я русский, хотя предки ее были обрусевшие греки и сербы, однако ни греком, ни сербом я себя никогда не чувствовал. Евреем? Да нет, скорее подмоченным русским. Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения. Как ее определить – право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос… Фамилии и примеры можно множить вне зависимости от времени и пространства, процента еврейской крови, даже вероисповедания или атеистического направления ума. В так называемом нашем кругу – Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Натан Эйдельман, Яков Гордин, Наталья Долинина, Илья Авербах, Андрей Миронов, Александр Володин, Леонид Зорин – никто, насколько мне известно, не знал идиш, не говоря уже об иврите. Английский или немецкий, к примеру, знали, даже французский или испанский знать могли; допускаю, что кто-то мог изъясниться на эстонском или аварском. Идиш знал только Гриша Лямпе, игравший когда-то в театре Михоэлса. Мне не

довелось ни от кого из этого круга людей слышать, чтобы он читал Башевис-Зингера или Шолом-Алейхема на идиш.

Кроме общеизвестных слов, «тухес», «поц», «бекицер», я не слышал ни от одного моего товарища или приятеля даже тоста за дружеским столом по-еврейски. Все они, в том числе писавшиеся в паспорте евреями, насколько мне известно, не знали, где в Москве находится синагога. При этом не прочь были откушать мацы или фаршированной рыбы, выпить рюмку холодной водки в еврейский Новый год, если об этом случайно кто-то почему-то вспоминал. При этом среди антисемитов считались стопроцентными евреями, а посему – «настоящими русскими». В своей же, еврейской компании могли делить на евреев и жидов, предпочитая и тому и другому определение «порядочный» или «непорядочный» человек.

Никто из нас на еврействе своем не был зациклен, несмотря на местечковые корни предков, на антисемитские государственные репрессии при Сталине, на разнообразные ущемления по пятому пункту своих прав или прав детей, на частичные или абсолютные запреты еврейской темы в русской культуре в течение десятков лет существования советской власти. Однако это не мешало нам – явно или тайно – гордиться вкладом евреев в мировую культуру, восхищаться живописью того же Шагала, с радостью обнаруживать, что не только Чарлз Спенсер Чаплин, Альберт Эйнштейн и Осип Мандельштам, но и Франц Кафка, и Джордж Гершвин одной с нами крови.

Знаете ли вы, что Лев Николаевич Толстой на старости лет пытался учить иврит? Но это по другим соображениям – высшего порядка. Он же где-то изрек: «Еврея любить трудно, но надо». Так и сказал? Что ж, его отчасти можно понять. Вот с антисемитизмом Гоголя, Достоевского, Блока и в особенности любимейшего Антон Палыча Чехова смириться труднее. Тут всегда случалась закавыка. Когда же к этому списку добавлялся тоже любимейший Михаил Афанасьевич Булгаков, становилось грустно, и разговор спешили перевести в другое русло.

Помню, после окончания победоносной Шестидневной войны Израиля по Москве ходил анекдот: «Входит в троллейбус огромный пьяный русский мужик. Ищет кого-то глазами. Находит маленького очкастого Абрамовича. Смотрит в упор и грозно, на весь троллейбус: “Еврей?” Тот, вжавшись в скамейку, тихо: “Да”. – “Уважаю!”»

Как-то в Ленинграде во время съемок фильма «Уникум» я завтракал с И. М. Смоктуновским в ресторанчике второго этажа гостиницы «Европейская», и он вдруг полушепотом обратился ко мне с присущими только ему, неповторимыми, странными интонациями и преувеличенной мимикой:

– Миша! Как ты относишься к победам наших братьев там? – И, не дождавшись от меня ответа (я судорожно соображал, почему Смоктуновский счел нужным именовать себя «их братом»), театральным шепотом закончил: – Не знаю, как ты, а я лично горжусь. Горжусь! Но, разумеется, это тайна. Никому – (он показал своей длинной дланью куда-то на потолок) – об этом ни звука. Тс-с-с!

Смоктуновский много лет прожил со своей женой Суламифью, которая родилась в Израиле, может, поэтому он счел нужным именовать себя братом победивших израильтян.

«Ожидовила его еврейка!» – скажет кто-то. Помню, в Ленинграде, где собирались в нашей столовой все эти Эйхенбаумы, Шварцы, Меттеры, жена Мариенгофа, Анна Борисовна Никритина, шутя говаривала моей маме: «Ожидовили мы тебя, Зойка!»

Кто кого ожидовил, кто кого обрусил – как в этом разобраться? Да и какие «жиды», если вдуматься, были профессор русской литературы Борис Михайлович Эйхенбаум, драматург Евгений Львович Шварц, поэт-имажинист и драматург Анатолий Борисович Мариенгоф или мой отец, Михаил Эммануилович Козаков, думавший и писавший исключительно по-русски? Однако и я, как и другие, втайне радовался победам маленького Израиля, о котором вообще-то понятия не имел и с трудом бы нашел его на карте. Я, как и другие, не только не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, но, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского. Более того, мне было приятно сознание, что сам Джизус Крайст-суперстар хотя бы наполовину «из наших» и что вообще вся эта заварушка, которая длится вот уже две тысячи лет и имеет хотя бы отдаленное отношение к каждой простой русской бабе, живущей в темной избе где-нибудь в Вологодской губернии, началась в деревушке Нацерет под бедным кровом простой девушки Мириам и ее мужа Иосифа-плотника. А потому рассуждения о том, что, мол, «евреи нашего Христа распяли», меня всегда просто смешили.

Я сам, «полужидок» из атеистической семьи, в шестнадцать лет крестился в маленькой церквушке в Питере, в районе Новой Деревни, что неподалеку от Черной речки. Произошло это событие в 50-м году. Еще жив был Сталин, в которого я верил, как в Бога. Я был сначала пионером, потом комсомольцем, никаких особенных сомнений в том, что мне отчаянно повезло родиться именно в Советской стране, победившей фашизм, первой в мире построившей социализм, первой в мире покорившей Северный полюс и вообще – первой в мире, у меня не было, несмотря на все испытания, выпавшие на долю нашей семьи, и в особенности матери, два раза отсидевшей в сталинской тюрьме…

Креститься в 50-м году было, прямо скажем, не модно, более того, отчасти даже опасно. Узнай об этом кто-нибудь в комсомольской организации моей 222-й средней школы, меня бы по головке не погладили. Но врать не буду – страха у меня не было. Почему? Ну, во-первых, я крестился тайно, а во-вторых, какой-то внутренний голос говорил мне, что я хочу стать таким, как все, и в этом нет ничего предосудительного, скорее наоборот. Как все. Верующим? Нет. Русским. Как моя няня Катя, как ее сестра Настя, как ее племянник Валька. Они-то и были моими крестными в той церквушке около Черной речки. И не только моими. Я убедил креститься вместе со мною девочку из соседней школы, в которую тогда был влюблен, а впоследствии и женился на ней. Именно она стала матерью моих старших детей. Звали ее Грета Таар. Из ее эстонского имени следует, что и она была не из православной семьи. При крещении ей было дано новое имя – Галина.

После совершенного обряда мы вышли в церковный двор, серебрился ночной иней, шел сухой снег; и вся эта атмосфера крещенской ночи в Ленинграде, радость причастия и причастности к чему-то очень важному словно связывала нас с ней обрядом не крещения – венчания и законности нашей платонической любви.

Было ли для меня что-нибудь еще в этом решении стать частью паствы русского православия? Не знаю. Пожалуй, было еще одно смутное чувство: теперь я не один в мире. Я не одинок. Кто-то Большой, Сильный, Добрый взял меня, слабого, трусливого, одинокого, под свое крыло, под свою защиту. И Он, несомненно, поможет мне, поведет меня по жизни, поддержит во всех моих начинаниях и устремлениях. О своем долге перед Ним я, разумеется, тогда не только не думал – даже не догадывался, не знал, что такой долг есть, должен быть и что именно это и есть самое главное и самое что ни на есть трудное, а подчас и мучительное.

Да и откуда было мне все это знать? Ведь тогда, в 50-м, в свои шестнадцать, я был в религиозно-философском смысле абсолютно дремучим пареньком. Я не читал даже Евангелие от Матфея, не помню, слышал ли я от кого-нибудь, что есть еще и другие Евангелия. Для меня Бог, Иисус Христос, воплощался в мозаичной фреске на церкви Спаса-на-Крови, что на канале Грибоедова в Ленинграде, где я жил тогда (именно в Ленинграде, а не в Санкт-Петербурге, не в Питере даже), и к этой большой мозаичной фреске я шел молиться перед экзаменами в школе, просил помощи у нее при поступлении в Школу-студию МХАТ, к ней приходил и позже, уже московским студентом, женихом ленинградки Греты-Гали.

К этой иконе на внешней стене храма, смотрящей на канал Грибоедова, Екатерининский канал, прихожу и сейчас, когда по воле судьбы и случая прилетаю из Тель-Авива в Северную Пальмиру. Стоял около нее тогда, молясь про себя, выпрашивая помощи, молюсь и сейчас, выпрашиваю прощение и умоляю о помощи. Но вот что забавно: тогда Он, изображенный на фреске, был для меня абстрактным большим Богом по имени Христос, который существовал очень давно, а скорее всего – всегда. Теперь Он для меня – Человекобог, Богочеловек по имени Иешуа Га-Ноцри, Иисус из Назарета, невесть какими судьбами переселившийся в Россию, на канал Грибоедова, где прошло мое детство. А сам я, теперешний, окончательно запутавшийся в толстовщине, бердяевщине, достоевщине, повидавший и Вифлеем, где Он родился, и Иерусалим, где Его распяли, начитавшийся философско-религиозной литературы, оставаясь при этом образованием, все еще надеюсь додумать мысль о Боге Едином.

И что Ему вздумалось создать нас такими разными – белыми, черными, желтыми, раскосыми? И почему Будда, Магомет, Христос нас разъединяют, а мы в фанатизме своем враждуем и с их именами на устах убиваем друг друга?.. И я стою на канале Грибоедова перед мозаичным распятием храма Спаса-на-Крови и прихожу лишь к тому, что знал и в детстве: я знаю лишь то, что я ничего не знаю.

И мне остается встать на колени на гранитные плиты набережной, если нет никого вокруг, и, как в детстве, попросить поддержки и защиты. У кого? У фрески?! Нет. У моего Бога…

Будучи полуевреем, я ни разу – ни там ни здесь – не переступал порог действующей синагоги. В силу незаинтересованности и чуждости, даже

эстетической. И мечеть на улице Дурова в Москве, рядом с которой я жил, где собирались тысячи татар по мусульманским праздникам, я предпочитал стыдливо обходить стороной в силу той же чуждости. Индии, например, я просто боюсь, мне кажется, я не посмел бы или, во всяком случае, не захотел бы войти ни в один буддийский храм даже из чисто туристского интереса. Католицизм мне много ближе, иногда даже кажется, что ближе православия. В католическом храме как-то просторнее дышится. К тому же, может быть, и римлянин скажет, что жиды распяли Христа, но вряд ли при этом добавит: нашего, итальянского. Хочется верить, что и подумать так – даже и про себя – он не может, хотя кто знает…

Изображали же Мириам-Мадонну на фоне флорентийских пейзажей. А в сознании какой-то части русских прихожан дева Мария – русская Мария, ключник Шимон-Петр – просто Петр. Думаю, мысль о том, что все это, во всяком случае изначально, чисто еврейская история, пусть и Божественно-всемирного толка, вызвала бы недоверие, а может быть, гнев и даже злость некоторых русских прихожан: «Значит, даже Господь Бог наполовину ваш, еврейский! А где же наш, полностью наш Бог?!» Может быть, поэтому языческий Перун жив и по сей день в подсознании непросвещенной части паствы христианско-православной русской церкви. И бог Ярило живет не только в «Снегурочке» Островского.

Смутное и мутное сознание темного прихожанина мешает ему принять всемирность учения Спасителя. Он не верит, что несть ни эллина, ни иудея. Мысль о непротивлении злу насилием ему, темному, не близка. Не возжелай ближнему того, чего бы ты не хотел сам, – звучит для него слишком абстрактно. Вот чтоб у соседа корова сдохла – это ближе. Не случайно русская Церковь, используя внешнюю, театрально-оперную атрибутику, как правило, слаба в проповеди. Проповедь нужно слушать, думать, вникать, трудиться душой – и, не дай Бог, еще задумаешься! А задумаешься – засомневаешься.

Оттого-то Лев Николаевич Толстой с его желанием дойти во всем самому до самой сути раздражал и раздражает сегодня даже так называемую мыслящую часть верующих россиян. Широко распространено убеждение, что Толстой хотел и не мог поверить; что он рационалист, в гордыне своей погрязший, и вообще «мусорный старик». А у современных российских интеллигентских кликуш он вызывает не просто раздражение, а порой активное неприятие.

В 1988 году в Москве мне довелось ставить телеспектакль по религиозно-философской драме Толстого «И свет во тьме светит», пьесе автобиографической, исповедальной, выстраданной (как и его «Исповедь»), которую сам Лев Николаевич называл «моя драма». Я хотел пригласить сыграть в моей постановке прекрасного актера и человека, моего товарища по раннему «Современнику» Владислава Заманского. Владислав – человек верующий. Его жена, в прошлом тоже актриса «Современника», – с годами стала истово религиозна. На мое предложение последовал категорический отказ:

– Владик, – отрезала она по телефону, – не станет играть в этой еретической вещи Толстого.

Впоследствии Алексей Петренко, взявшийся в этом телеспектакле за роль Сарынцева – альтер эго Льва Николаевича, – обмолвился как-то, что до того, как принял решение играть, долго сомневался, думал, советовался с женой. Однако все-таки решился, взвесив все «за» и «против». Уже на съемках я видел, как он что-то преодолевал в себе, прежде чем произнести отдельные реплики Сарынцева – Толстого, в которых подвергались сомнению и Церковь как единственная наследница учения Христова, и само непорочное Божественное происхождение Христа, и «все глупости и гадости Ветхого и Нового Завета», и «всевозможные ужасающие нелепости и мерзости», приписываемые Богу, которые вдалбливаются в головы ни в чем не повинных, открытых добру и истине детей. Жить следует, так думает Толстой, по Нагорной проповеди Христа – этому всемирному учению. Жить – буквально исполняя завещанное им, тем самым спасая свою бессмертную душу, чувствуя единого Бога своим Отцом небесным, всем вместе идти к этому свету, который один и во тьме светит. Так полагал Толстой.

Он не просто гений. Для меня он – самый бесстрашный трагический писатель, мыслитель – по крайней мере в русской культуре. Он не останавливается ни перед какой пропастью в упорстве своем додумать мысль о жизни и смерти, развязать самый тугой и запутанный узел. Он, разумеется, не дает окончательного ответа. Толстой сам мучительно этот ответ ищет, и часто его писательский, человеческий гений, вопреки выстраданным убеждениям, приводит и самого писателя, и его героев к трагическому финалу, как это и происходит в драме «И свет во тьме светит» с Сарынцевым. Уже за этот многолетний трагический, мучительный поиск Божественной истины Толстой более чем его ниспровергатели, хулители с крайних православно-церковных позиций, достоин Царства Божьего. Он, если вдуматься, величайший и

последний в России религиозно-философский писатель. Последующие – любимейшие Антон Павлович и Михаил Афанасьевич – каждый по-своему отошли в сторону от столбовой дороги, предложенной великим старцем. Чехов в этом смысле скромно затаился, схитрил, скрыл, счел нужным не писать ни о чем таком впрямую, даже в «Черном монахе» – лишь намеки… А Булгаков с его Пилатом, Воландом, Иешуа Га-Ноцри создал прельстительную, пленительную, утешительную великую ересь, скорее гётевского, нежели толстовского толка.

…Роль Иешуа Га-Ноцри в фильме режиссера Юрия Кары по «Мастеру и Маргарите» была предложена Николаю Бурляеву. Мне довелось на съемках, проходивших в Иерусалиме, брать интервью у актера, хорошо известного своей почвеннической ориентацией. Артист с неохотой согласился на интервью и поставил условие: не говорить об исполняемой им роли. Однако куда денешься? Вообще обойти эту тему ни ему, ни мне, естественно, не удалось. Выяснилось, что Бурляев, как ранее Петренко с драмой Толстого, обдумывая предложение играть булгаковского Иешуа, сомневался чрезвычайно долго, советовался со своим духовником и в результате все-таки согласился – при условии значительной редактуры написанного Булгаковым. Так как фильм «Мастер и Маргарита» не вышел на экраны и по сей день и я его, разумеется, не видел, мне остается лишь догадываться, что именно в прозе Булгакова подверглось коррекции Бурляева. Право на догадки дает мне то, что я сам увидел на съемках сцены с Пилатом и Иешуа в Иерусалиме.

У Булгакова Иешуа человек лет двадцати семи, в разорванном стареньком грязно-голубом хитоне, голова его покрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба. В мистическом видении Пилату вдруг мерещится, что у Иешуа другая голова – плешивая, с редкозубым золотым венцом. Но мало этого, Иешуа Га-Ноцри у Булгакова – родом из Гамалы, он не помнит своих родителей, слышал только, что его отец – сириец… Ясно, что булгаковский Мастер не пишет Христа из Евангелия. Ему важна не буква, а дух. Я почти не слышал текста, но видел актера Бурляева, в белом, чистом хитоне, красивые каштановые волосы, разделенные на две части пробором посередине, благостное, словно с олеографии, выражение не лица – лика. Не Иешуа Га-Ноцри Булгакова – Иисус Христос Николая Бурляева… Если вдуматься, коррекция Бурляева – еще большая ересь, чем роман в романе М. А. Булгакова, человека безупречного вкуса.

И нежно мною любимая, большая актриса Екатерина Васильева перед съемками телефильма «Визит дамы» по пьесе Дюрренматта делилась со мной, режиссером, своими сомнениями. И это тоже были сомнения религиозного

свойства. Дюрренматтовская Клара, по мнению актрисы, – материализовавшееся зло: ад, который в ней, который она сама. И этот ад она несет людям, вернувшись миллиардершей на родину, в маленький городок Гюллен. Васильева тоже советовалась со своим духовником и согласилась играть в моем фильме при условии, что в сцене венчания Клары с очередным мужем она не приблизится к алтарю. После моих просьб она все-таки согласилась войти в католический храм, но к алтарю подходила уже дублерша, которую снимали со спины.

Конечно, это особые ситуации, когда актеры проявляют такую истовость. Но почему я пишу об этом в моей книге? Да потому, наверное, что я мучительно пытаюсь ответить себе на те же вопросы: о религии, о родине, об убеждениях – или об отсутствии таковых, или лишь о частичном присутствии, чтобы понять, кто же я? С чем я покинул Россию, Москву, мой дом и что за груз я привез с собой в страну, где живу теперь?

Итак, Москва, 1991 год. Пустые прилавки, молчащий телефон, страх за семью в пять человек, конечно же, усталость, накопившаяся раздраженность после работы над телефильмом «Тень», едва доснятым на государственные деньги, да и то при поддержке в миллион рублей чудом отыскавшегося спонсора, торопили мое решение отвалить из совка. Хотя бы на время.

– Телефильм наш обошелся в два миллиона рублей, а запустись мы с ним снова, он бы уже стоил все четыре, – сказала мне директриса мосфильмовского объединения.

Четыре миллиона рублей были еще огромной суммой в 91-м году. И, конечно же, никакой спонсор, не говоря уже о государственном телевидении, мне бы таких денег ни на какую «Тень» не дал. И не только на шварцевскую «Тень», а вообще бы не дал. Ни на что. Запустить телеспектакль на телевидении, как я это делал последние десять лет, чередуя телекино «Покровские ворота» с телеспектаклем по пьесе Островского «Последняя жертва», мосфильмовский «Визит дамы» с останкинским «Случаем в Виши» по пьесе Миллера, в 91-м году уже было абсолютно нереально. А ведь телережиссура стала моей едва ли не основной профессией. «Маскарад» Лермонтова, «Фауст» Гёте, поэтический спектакль по стихам Бродского, Толстой, Самойлов, Пушкин – все уходило в область преданий.

Кто платит деньги, тот и заказывает музыку! А новые спонсоры (без них уже государственное телевидение ничего серьезного запустить не могло) хотели

другой музыки, той, которую мне было не сыграть, даже если бы удалось пересилить себя. Уже ясно просвечивали контуры будущего L-клуба и других ТВ-клубов, вовсю начинало крутиться колесо счастья на поле дураков, и заплакал совковый зритель по судьбе богатых, живущих в фазендах. Я, как говорится, кожей почувствовал нашествие, лавину всего того, чему мы все сегодня в России свидетели, что видим и в Израиле по двум ТВ-программам из России. Спасаясь от этой лавины, я не смог найти даже маленькой ниши. «Столапинская» эпоха времен генсека Брежнева вызывала у меня уже ностальгический вздох, я мысленно искал и не находил для себя выхода в рамках моей профессии: куда податься сироте? Рассчитывать как актеру на большое кино? Но на отмываемые деньги снималась в основном кинохалтура, да и возраст мой в сочетании с внешностью, которая ограничивала меня даже в молодости, не вселял радужных надежд. Концертная деятельность? Но телефон молчал.

И на вопрос журналиста, почему я уезжаю в Израиль, я ответил односложно: «У меня проблема с детским питанием для маленького сына». Над этой моей фразой долго иронизировал всяк кому не лень: «У известного актера причина оставить родину – детское питание! Смешно, ей-богу, мог бы что-нибудь поумнее придумать». Для меня же в этом «детском питании» сосредоточилась вся униженность моего тогдашнего положения. Кстати, и доставание, и приобретение этого пресловутого питания в том числе. Для «Березок» были нужны «зеленые», которых у меня не было. Первые и последние случайно заработанные «зеленые» в 1989 году в групповой поездке по «воинским частям Америки» уже закончились, а в совковом магазине унижаться в подвальных кабинетах директоров, получать продукт «под лицо», как говорят артисты, становилось невыносимо, да и не всегда удавалось. У нас в магазине на Люсиновке на прилавках – хоть шаром покати, а ты выходишь с черного хода с сумкой, набитой датским «Семилаком», словно обворовал тех мамаш, что в безнадежности бродят по магазину, разглядывая пустые никелированные полки. А ведь и в самом деле обворовал – вместе с директором в грязном белом халате, что милостиво бросил:

– Нина, отпусти артисту для сынка евойного. Тебе чего надо, Михаил?

Волну эмиграции 90-х в Израиле называют «колбасной». Эмиграция 70-х (ватики предпочитают называть ее «репатриацией») была идейной, идеологической, сионистской. Я не против причисления себя к «колбасникам» – в этом, безусловно, есть немалая доля правды. Но у каждого из нас было еще что-то свое, личное. Было и общее: ради детей, хотя каждый из нас вкладывает в это

«ради детей» опять-таки что-то свое. Что же было совсем-совсем личным у меня? Что заставило поднять свою старую задницу, распродать вещи, разорить ордынский дом, погрузиться сначала в поезд до Риги, а затем, прибыв рейсом Рига – Тель-Авив, вывалиться из самолета всем семейством, со всеми чемоданами, узлами, корзинками, сумками, с маленьким, одуревшим от переездов-перелетов сынком под мышкой в аэропорту Бен-Гурион и, едва переступив порог входной аэропортовской двери, окунуться в одуряющую и липкую жару тель-авивского июня 1991 года?

Еще три дня назад – премьера, прощание с фильмом «Тень» в московском киноцентре. Наутро после банкета стучало в висках и сохло во рту. Я давал интервью популярному телеведущему Дмитрию Крылову в уже пустой московской квартире, на стенах которой белели следы от снятых и упакованных в чемоданы семейных фотографий, а на полу валялись какие-то теперь уже никому не нужные случайные предметы: молоток, журналы, что-то еще… Так сказать, интерьер к неосуществленному современному телеспектаклю по пьесе Чехова «Вишневый сад». Затем проводы, прощание с ближайшими друзьями и родственниками на Рижском вокзале. И тут был глаз телекамеры ведущего «Кинопанорамы» Виктора Мережко и прозвучал сакраментальный вопрос: «Почему?» с односложным ответом: «Устал».

Оба телеинтервью – слезы прощания, похмельное и опохмеленное мое лицо, уходящий поезд, жена и я машем оставшимся на перроне – мы увидели уже в Тель-Авиве. Увидели и, честно говоря, охренели от того, что сделали с интервью оба прославленных ведущих. Крылов – тот хоть сам смонтировал и откомментировал, как ему Бог на душу положил или совесть подсказала. А уж Мережко… Тот вовсе фортель выкинул: отдал снятый на перроне в последнюю минуту моего пребывания в Москве материал для «комментария» политикану и шоумену Владимиру Познеру. И этот последний, сидя в красных деревах своей московской квартиры, при свете хрусталя, в элегантном костюме из Нью-Йорка или Парижа, проповедовал о Родине, осуждал мой поступок, а затем, закончив «экспертизу», в бежевом элегантном плаще взлетел на трибуну очередного митинга протеста или одобрения этаким улыбающимся фертом, очень довольный собою и происходящим вокруг на площади, и победно помахал поднятой рукой, что и зафиксировал телеглаз господина Мережко. Такой эффектный возникал контраст: с одной стороны, российский гражданин (кстати – и американский – по праву рождения. Познер родился в Нью-Йорке[2 - Познер родился в Париже. – Примеч. ред.]), борец за счастье и демократию, уверенный в себе Познер, и с другой – сбившийся с правильного пути, жалкий недоумок Козаков.

Мало этого – Мережко еще привлек в ту же «Кинопанораму» моих товарищей и коллег: Анастасию Вертинскую, Игоря Костолевского, Валентина Гафта, и они порассуждали на заданную тему – Родина или чужбина. Хорошо, что мои «боевые» товарищи совсем уж конкретно обо мне не говорили, а то бы мне в Тель-Авиве плохо пришлось. Однако радости мне оба предотъездных телеинтервью доставили мало. И заставили крепко задуматься: что же это у нас за страна такая, если люди одной профессии, одного круга интересов, которым все доподлинно известно – и про положение дел с телекино, и про зыбкость существования в театре почти каждого из нас, и моего в частности, и про то, что не от хорошей жизни я бежал, и тем паче не на легкие хлеба себя обрекаю, могут – ничтоже сумняшеся – такие передачи вслед уехавшему делать или в таковых участвовать, зная, что я уже и ответить публично не могу? Если свои на такое идут, так чего уже от чужих ждать?..

Сейчас, когда пишу про все это, не счеты запоздалые свожу, да и обида уже прошла, а к слову пришлось, в строку встало для информации к размышлению. Один замечательный актер старшего поколения, той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил:

– Запомни, Миша! Мы в России – в гостях. Запомни: в гостях! И перестань чему-либо удивляться.

Я возражал:

– И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?

– Да, все это так, Миша, и все-таки мы в гостях.

Признаться, я так не думал, по крайней мере тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался. Начал раздумывать, как это ни парадоксально, когда началась горбачевская перестройка, которая вылилась в ельцинскую вольницу. И задумался не на шутку. А потом и сам нечто вроде афоризма сочинил: «Лучше быть полурусским в Иудее, чем полуиудеем в России».

Этот вопрос (или ответ) далеко не однозначен при теперешнем положении дел в России; в России, которая пытается то ли возродиться вновь, то ли вернуться

назад к триединству: «Самодержавие, Православие и Народность». А может быть, прийти к чему-нибудь пострашнее? А ведь говорят: «Есть ли право у людей с нерусской кровью вмешиваться в этот процесс?» Не достаточно ли уже вмешивались? А теперь получают одни упреки и проклятья – за разрушение православных храмов, за расстрелянную царскую семью, за пресловутый интернационализм, за карающую власть ЧК – КГБ, за смуту в умах, за заговор сионских мудрецов, за жидомасонство, за прикосновение к религиозно-философской православной мысли и учению Христа. Не оттого ли и Александра Меня – топором по голове? Правда, сын юриста в Думе скандалит на весь мир и, глядишь, еще в президенты попадет. Однако случись такое, не дай бог, и натвори он дел, опять-таки скажут: «Да это потому, что папочка-то его юриспруденцией увлекался». Так-то! Вопрос! Евреев в России не останется, вопрос всегда будет! Но жили и живут в России сотни тысяч «лиц еврейской национальности», говорят по-русски, думают по-русски и будут жить, даст Бог, еще долго.

Не хочется заниматься такого рода математикой, но справедливости ради следует отметить, что сегодня, к примеру, в московских театрах по крайней мере пять-шесть главных режиссеров – евреи. Много евреев работает в кино, на телевидении, в консерватории, на эстраде их предостаточно, во всех жанрах – от разговорного, традиционно еврейского, до так называемого оригинального. Хорошо известны драматические актеры с еврейскими фамилиями, и, насколько я знаю, никто их ни в чем не ущемляет, по крайней мере сегодня. Михаил Михайлович Жванецкий – «любимец всея Руси», как тут недавно объявил ведущий телеконцерта Эльдар Александрович Рязанов. А какое телешоу сегодня обойдется без Ширвиндта, Арканова, Мишина? Без непременных гостей телеэкрана: Юлия Гусмана, Яна Арлазорова, Андрея Урганта? И они развлекают и развлекаются, презентуют и презентуются, чествуют и чествуются, словом, тусуются на глазах многомиллионной аудитории несчастных, растерянных и озабоченных выживанием россиян.

А кто-то из деятелей культуры и в политику пошел. И никто, никто из вышеназванных, насколько мне известно, в Израиль не собирается. Разве что на гастроли, в командировку или в гости ненадолго.

В начале горбачевской перестройки встретился я в самолете с Владиславом Листьевым. Во время полета разговорились, и я, еще преисполненный перестроечной эйфорией, предложил ему устроить поединок между Игорем Шафаревичем и мною. Тогда, в 88-м, мне казалось, что стоит только поговорить

по душам с теоретиками этого толка, и телеаудитория сама все сообразит – настолько очевидной мне представлялась моя правота. Листьев скептически посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: «Михаил Михайлович, даже если бы эта встреча состоялась у нас в студии, вам бы пришлось несладко. Игорь Шафаревич сделал бы вас одной левой». Покойный Листьев был прав, и не только потому, что я в вопросах теории много слабее Шафаревича, но и по другим, более важным причинам.

Что есть возрождение национального самосознания и как его понимать, если уже понятие интернационализма отметено вместе с коммунистической идеологией, будь она неладна?! Казаки с невесть откуда взявшимися Георгиевскими крестами, служители церкви, освящающие открытие митингов и офисов, бывшие коммунисты, осеняющие себя крестным знамением, благоговение по случаю приезда из Испании толстого мальчика-цесаревича с толстой мамой-испанкой – русской великой княгиней. Красно-коричневые, бело-голубые, черно-красные. Какие-то Дворянские собрания с новыми графьями Садальскими, Киркоровыми, стоны по прекрасному и далекому прошлому, по России, которую потеряли и которой, вообще-то, никогда не было в том смысле, какой представляется Говорухину…

Не стану утверждать, что к моменту моего решения об отъезде мне было видение обо всем том, что я увидел потом по телевизору, о чем прочитал в газетах, услышал от приезжающих из новой России, что позже наблюдал сам в Питере и в Москве, куда поехал спустя три года поработать. Сразу оговорюсь: у меня нет однозначного – ни положительного, ни отрицательного – отношения к происходящим в России мучительным историческим процессам. Я российский обыватель, живущий теперь за границей. Не более того. И как всякий обыватель, я не знаю выхода из трагического тупика. Не берусь судить ни об экономике, ни о политике, ни об идеологии. Я в состоянии лишь констатировать, переживать, мучиться вопросами и не находить определенных ответов ни на один, мной же самим перед собою поставленный.

Но это не отменяет импульсивных чувств. Когда я вижу митинги и разгул красно-коричневых, тогда я тут же вспоминаю о маленьком Мишке и повторяю словно заклинание: «Лучше быть полурусским в Иудее, чем полуиудеем в России», куда меня, конечно же, тянет и по которой душа тоскует, без которой мне жизни нет. Однако жить в России и делать вид, как будто не видишь, что творится вокруг, мне кажется, я бы не сумел. А активно вмешиваться в происходящие там новые процессы – страшновато, ибо никогда до конца у меня лично не возникло бы на

это внутреннего права в эпоху возрождения русского национального самосознания как единственного выхода из тупика, куда завели матушку Русь. Кто? В том числе евреи. И с этим, увы, трудно не согласиться, даже если очень хочется не соглашаться…

Но прежде чем спуститься с небес на грешную, пусть и Святую, землю – Израильщину и начать (пора! пора!) путешествие, в котором нахожусь уже четыре с половиной года, прежде чем решиться описать его, – еще кое-что о прошлом, о еще не выговоренном до самого конца, без чего причины моего отъезда останутся непонятны мне самому.

«Иных уж нет, а те далече», – как часто, живя в России, к месту и не к месту мы повторяли это вслух и про себя! Каждый, покидавший Россию в 70-е, по своей или не по своей воле, и потом, в 80-е, разрушал «экологию» существования оставшихся. Словно мы все держали, как атланты, некую огромную давящую плиту – и вдруг на одного становилось меньше и груз ложился на плечи оставшихся. Одним, другим, третьим меньше – тяжесть становилась невыносимой!

Выбравшихся из-под этой плиты никто не упрекал, скорее наоборот, вздыхали: и этот теперь «далече», как-то он, что с ним теперь?

В начале 70-х уезжал Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, своя огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машина, лучшие женщины – модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: «Почему, Лева?» Он: «Да, у меня здесь есть если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что меня ждет там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день[3 - Збаский умер в 2016 г. в Нью-Йорке. – Примеч. ред.]. – М.К.) Но как бы тебе это поточнее… Понимаешь, это кино мне уже показали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю». И уехал Лева, и его товарищ, художник Юра Красный, отвалил, да мало ли кто еще из нашего близкого и дальнего круга! У каждого были свои причины, свои объяснения и обоснования. Но тех, кто «далече», становилось с каждым днем все больше и больше. Экология разрушалась. Плита пригибала к земле.

Уже после выдворения Солженицына я провожал кого-то в Шереметьево. И вдруг увидел поэта Наума Коржавина и тогдашнего свояка Солженицына. Кажется, по фамилии Штейн. Оба моих знакомца были возбуждены (тоже, видать, кого-то проводили), говорили громко (или мне тогда от страха так показалось):

– А ты, Миша, не думаешь об отъезде? Это просто необходимо, пока есть щель, пока выпускают. (Щель действительно образовалась тогда – в какой-то период конца 70-х; Брежнев ее на время приоткрыл под влиянием внешнеполитических причин. – М.К.) Мы твердо решили валить и тебе советуем. Нечего тут делать. Решайся!

Помню, что я не только испугался их пламенных речей, но успел еще подумать про себя: «А на хрена мне, собственно, валить? Мне и тут пока неплохо: играю, ставлю. И вообще – чушь все это!» А ответил им так:

– Ребята, во-первых, потише, а во-вторых, может быть, вы и правы, но каждый решает для себя сам. Я уж тут останусь. Там мне делать совсем нечего. – Ответил вполне искренне.

Не то чтобы я не понимал преимуществ просвещенного капитализма. Да и что тут не понять? Достаточно было мне, 23-летнему парню, еще в 1957 году побывать на шекспировском фестивале в Канаде и увидеть всю сногсшибательную разницу между «разлагающимся» капитализмом и строящимся коммунизмом, подышать запахом этого «разложения», как все стало ясно. Да и потом, во всех поездках, на гастролях с театром по всевозможным франциям, германиям, италиям я убеждался в этой сногсшибательной разнице вновь и вновь. Вот только не дано мне было тогда понять, что капитализмы-то канадский, французский, итальянский и меж собой различны, а уж к русскому человеку имеют весьма отдаленное отношение, если этот русский в России родился, будь он хоть трижды евреем. Я и не вникал тогда в суть проблемы, а мыслил просто и однозначно: я актер, не знающий, кроме русского, ни одного языка, и единственно возможное для меня место полноценной работы – Россия. Все. Точка.

Будь я Нуреевым или Ростроповичем – было бы о чем подумать. Ну ладно, не Ростроповичем, а хотя бы Лексо Торадзе или Володей Виардо. Да, слинявших становилось все больше и больше. Виардо и Торадзе были уже из ближайшего моего круга. Вот и они оказались «за бугром». Не говоря уже о Викторе

Некрасове, Васе Аксенове – подлинно близких друзьях из 60-х. Рушилась, рушилась экология. Оставшиеся еще шутили: «Нам не надо Тель-Авива, Пярну – лучший город мира…» «И зачем же нам кибуцы, разве нет у нас колхозов?» – писал в шуточном послании Дэзик Самойлов еще жившему тогда в Союзе своему другу Леве Копелеву.

Но вот и Копелев, не вняв шутливым увещеваниям, выбрался из-под плиты. Остававшиеся подхватывали камень и принимали всю тяжесть на себя. Им оставалось лишь это, да еще раздумья. Додумывать и обдумывать, что же все-таки происходит, отчего отвал, словно снежный ком, превратившийся в лавину, набирает и набирает скорость и неудержимым потоком устремляется по разным направлениям и на разные широты? Процесс, начавшийся еще в 70-х, к концу 80-х принял формы массового психоза…

После смерти Давида Самойловича Самойлова я беседовал с его вдовой Галиной Ивановной. Я тогда еще не созрел для отъезда, но, видать, созревал. Кому-то, как в том анекдоте, нужно было только сказать: «Падаем».

– Была некая ниша, – сказала Галина Ивановна, – где все мы, такие, в сущности, разные, жили долгие годы. У нас была некая система ценностей и приоритетов. За порогом ниши был чужой, враждебный нам мир. То, что он был чужд и враждебен, способствовало нашей консолидации, при всех наших внутренних противоречиях и несогласиях. Но то, что лежало вовне, было еще опасней. Так мы жили, и временами даже очень неплохо. Теперь, Миша, все изменилось. Сменяется эпоха, ниша рухнула, связи внутри нее прервались, мы растерялись, разъединились… Все, как это ни грустно, ясно. Судьба, рок.

Я согласился с этой очевидной истиной. Но от этого не делалось ни веселей, ни понятней, как жить дальше. Уходили в безвозвратное прошлое все наши пярнуские посиделки, культурабенды, поэтические вечера – не только в Политехническом, но где бы то ни было. Сменялась эпоха, умирали друзья. Те, некоторые, были «далече», а «иных» становилось все больше и больше.

В конце 80-х я проводил в последний путь вслед за Ильей Авербахом, Андрюшей Мироновым, Юрием Богатыревым сначала – Арсения Тарковского, затем Натана Эйдельмана, затем Давида Самойлова, и вот-вот должен был уйти из жизни мой друг, режиссер Борис Галантер. Круг моих московских друзей становился все

уже. Но, сужаясь, он, увы, не становился теснее. И это тоже была примета нового времени. Озабоченные и растерянные, мои друзья метались в поисках стабильности, просто-напросто – заработка в новых условиях перестройки и начавшихся экономических перемен. Мы теперь встречались в основном на похоронах и поминках, лишь иногда дома на кухне. Реже, чем раньше, еще и потому, что добраться друг до друга или принять кого-то хлебом-солью становилось для таких, как мы, серьезной проблемой. О том, чтобы, как в старину, пригласить в ресторан Дома кино или Дома литераторов компашку близких и закатить банкет на 10–15 персон, и речи быть не могло! Да и разговоры наши, когда встречались, делались все озабоченней и грустней. Иногда складывалось впечатление, что собрались поныть и поплакаться друг другу в жилетку. Рвались, видоизменялись теплые дружеские связи. Последние нити, связывающие меня с Москвой, ослабевали. И, как неотвратимо стареющий, предчувствующий конец жизни князь Болконский, искавший, где ему постелиться на ночь, избегая привычного дивана, кровати, угла под образами, в страхе обрести там смертный одр, я стал искать место – если уж нельзя было изменить время, – где я смог бы избежать затухания, окисления, депрессии.

И вот в декабре 1990 года возник соблазн примкнуть к группе Арье – Мальцева, в порядке пробы поехать с ними на разведку в Израиль, поглядеть, что там и как; понять для себя, что это за русскоязычный театр они придумывают и смогу ли я в нем работать. Сказано – сделано.

Эта первая проверочная поездка в Израиль была бы вполне хороша, успешна, все было бы изумительно-замечательно: и Иерусалим, и Стена плача, и море, и природа, и банкеты, и вкусная еда, и дешевая водка, и встречи со старыми друзьями, поселившимися там двадцать лет назад, – словом, все-все было бы «бэсэдер» (в порядке), если бы не одно маленькое обстоятельство. Мне за эти две недели пребывания нужно было прийти к окончательному решению: ехать сюда или оставаться в Москве? За эти две недели концертов-спектаклей, которые собрал и организовал режиссер Евгений Арье, за эти 14 дней впечатлений, застолий, разговоров с людьми, обсуждений со своими – с Гришей Лямпе, с Леней Каневским, – которые, как и я, еще только решались (Валя Никулин и Люда Хмельницкая уже решились), несмотря на липкую жару, чужой пейзаж, абсолютно иной, пугающий меня язык – вязь надписей на нем этакими рыболовными крючками над витринами магазинов и в огнях неоновых реклам, – следовало решить, дать ответ себе и другим на вопрос: способен я, в свои 56 лет, круто изменить жизнь в попытке обновления? Или просто вернуться в Москву, привезти домашним израильские сувениры, туристские рассказы о земле их предков и на этом окончательно поставить точку, продолжая

предопределенный мне судьбой привычный путь?

«Но путь куда? Куда?» – вновь и вновь я спрашивал себя, ворочаясь ночью на влажных простынях в номере маленькой тель-авивской гостиницы, где меня и Никулина разместил директор будущего «Гешера» Слава Мальцев. Путь куда? Это кино мне, как и Збарскому, уже показали, и я ведь его посмотрел почти до конца. И последняя часть не предвещает ничего хорошего. Так неужели остаться только ради того, чтобы увидеть надпись «fin» по-русски, не решаясь начать что-то новое и, может быть, весьма интересное в жизни? А уж как обрадуются жена и ее родители, если решусь! А маленький сын, навсегда избавленный от вечных прелестей совка? А детское питание, которого здесь, в Израиле, навалом?

И вот так каждый Божий день – утром я решался на отвал, но уже вечером понимал всю абсурдность этой губительной затеи. Ночью я принимал смелые и ясные решения примкнуть к молодому театру Арье – Мальцева, но уже при свете дня, разглядывая восточную архитектуру Тель-Авива, я так же решительно говорил себе и другим: «Нет, это не для меня». Мой сосед по номеру, Валя Никулин, только вздыхал, выслушивая мои гамлетовские сомнения, – он-то уже прошел ОВИР, его лишили советского паспорта, его жена уже продала московскую квартиру, и возможности к отступлению у моего старого товарища по «Современнику» не было.

Перед самым отлетом в Москву я все-таки сказал твердое «да» Мальцеву и Арье, и мы условились, что они могут рассчитывать на меня, а я так же определенно могу рассчитывать на место в их новом русскоязычном театре в Израиле. Мне гарантировали скромную зарплату (речь шла о тысяче долларов), возможность режиссуры в театре. Мы взяли взаимные обязательства в случае изменения решения с той или другой стороны сообщить об этом друг другу как можно раньше. Но несмотря на то, что я обнародовал мое решительное «да» в Израиле и даже позвонил домой в Москву жене и оглоушил ее – к вящей радости ее родителей – этим судьбоносным и хмельным решением, оставалось еще целых полгода московской жизни – окончания съемок, монтажа фильма «Тень», бесконечных разговоров, споров, сомнений, раздумий, страхов, истерик – до того июля 91-го, жаркого 26-го дня, когда я, хмельной и, безусловно, психически нездоровый, слезливый, злобный, бесконечно усталый и издерганный, затерроризировавший жену, ее перепуганных и тоже вусмерть уставших родителей, с маленьким Мишкой на руках прибыл в Израиль.

Абсорбция. Что это за слово? И почему его терпеть не могут все «олим хадашим» – вновь поднявшиеся? В Израиль, надо сказать, не эмигрируют, не прибывают, а поднимаются, удостаиваются чести подъема на Синай. И вот, когда поднялись, начинается абсорбция, растворение, вхождение в новую среду, новую жизнь. Легко сказать: «раствориться». Человек не сахар, который растворяется в горячем какао. Как сообразить, с чего начать, как сразу же не ошибиться, не просчитаться в этой неизвестной, непонятной стране, где поначалу решительно все, любая мелочь, вчерашний пустяк, представляет для тебя невероятную трудность, когда ты словно ребенок, который учится ходить. Только в отличие от ребенка, для которого этот процесс естествен, беспрерывно ощущаешь унизительность своего положения. Без посторонней помощи ты парализован, не можешь шагу ступить. Еще вчера ты качал права в московском или ташкентском ОВИРе, ссорился на таможне, закупал в полет водку в кооперативном ларьке и шутил с киоскером, а через несколько часов уже не способен без посторонней помощи спросить: где тут у вас туалет, позвонить по автомату, купить ребенку мороженое… Так начинается абсорбция. И у каждого она своя – и похожая, и непохожая.

Я был в наивыгоднейшем положении: меня встретил друг моего детства на собственном рафике, куда мы погрузили нехитрые пожитки. К тому же театр «Гешер» отправил в аэропорт Бен-Гурион своего завпоста, чтобы встретить вновь прибывшего актера из Москвы. Завпост объяснил мне, что Арье и Мальцев чрезвычайно заняты и поручили ему препроводить нас в Тель-Авив и поселить – разумеется, временно – в квартире, где проживают артисты «Гешера» Женя Додина и Наташа Войтулевич с мужем. Они сами переночуют где-то в другом месте, а завтра объявится директор театра Мальцев и что-то для нас придумает.

Мы оказались в двухкомнатной квартире на центральной и шумной улице Дизенгофф. Беспомощно бродили по двум комнатам, где развешаны сохнущие колготки, стоит невымытая посуда и наспех свернуто постельное белье. Здесь же – наши чемоданы, сумки, узлы, под ногами путался и хныкал приболевший Мишка, которого надо чем-то накормить и напоить…

Наутро действительно появился Слава Мальцев и предложил нам временно переехать в другой город – Натанию, пока мы не утрясем наши дела в Тель-Авиве: не получим нового гражданства, «корзину абсорбции» – единовременную помощь государства – и пока сами не снимем себе в Тель-Авиве устраивающую нас квартиру. Ничего не поделаешь, Натания так Натания. И вот мы на месте в Натании (40 минут езды от Тель-Авива, если на дорогах нет пробок), в

малюсенькой квартирке, которую на время любезно предоставила театру «Гешер» милейшая женщина по имени Рита.

Над нами сжалился друг моего детства Борис Поляк, который встречал нас в аэропорту, и увез к себе, в Нес-Цион – другой маленький городок в часе езды от Тель-Авива и часе езды от Натании. Так мы и прожили первую неделю абсорбции, на колесах, как бы в трех городах одновременно. Каждый день в пять утра (пока нет пробок) Борис отвозил нас сначала в Тель-Авив, где мы оформляли необходимые бумаги, получали деньги и занимались поисками квартиры. Ближе к вечеру он доставлял нас в Натанию – навестить родителей и больного Мишку, – и уже поздно ночью мы возвращались, опять-таки на Борисе, в его несционский гостеприимный дом, чтобы назавтра снова продолжить наше круговое движение.

Еще в Москве, заканчивая съемки фильма «Тень», в течение полугода до отъезда, я связывался с руководством «Гешера», подтверждал предстоящий приезд и настоятельно интересовался: не изменились ли их планы в отношении меня. Я нервничал, дергался, когда они исчезали, звонил моему несционскому другу, просил его связаться с «Гешером». Время торопило меня: приближался срок отъезда. Уже победно закончилась операция «Буря в пустыне», и Израиль зажил обычной мирной жизнью. До меня доходили слухи, что спектакль Евгения Арье «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с триумфом показан тель-авивско-иерусалимской публике, что по поводу этого русскоязычного спектакля (постановка шла в синхронном переводе) есть превосходная ивритская пресса и что, слава Богу, все идет даже лучше, чем ожидалось: поддержка общественности, помощь сионистского форума, властей. Одним словом, «Гешер» есть и пребудет дальше.

А я тем временем обрубал концы в России, распродавал вещи, давал интервью о предполагаемом переезде в Израиль и при этом находился в неуверенности, нужен ли я там. Откуда мне тогда было знать, что уже и Людмила Хмельницкая, которая, как сестра Натана Щаранского, немало сделала для возникновения и самого существования театра «Гешер», была почему-то отстранена от театра, да и дни старика Никулина в театре были сочтены? Он оказался вне «Гешера», предоставленный самому себе и собственной абсорбции…

Услышь я в Москве, что мой ожидаемый приезд в «Гешер» сопровождается шутками типа: «Вот ужо приедет наша нетленка», – не думаю, чтобы я решился рубить канаты и поднимать якоря. Тогда я списывал отсутствие звонков,

проявление невнимания на иракскую войну, на отсутствие денег, на невероятную занятость. В этом, безусловно, была часть правды – однако лишь часть. В чем мне, к сожалению, пришлось скоро убедиться.

Дело не в том, что меня не встретили как положено, так сказать, не расстелили красную ковровую дорожку, не выпили со мной в день приезда рюмку водки, не в том даже, что – допускаю – будучи сверх меры заняты, не сочли нужным индивидуально побеседовать со мной сразу по приезде, – а в том, что мне почти сразу же стало ясно, что все мои заготовленные еще в Москве пьесы, поэтические композиции, моноспектакль по Бродскому оказались вне интересов руководства театра «Гешер». Когда я попал на собрание коллектива театра в самом начале моей недельной абсорбции, я впал в угнетенное состояние духа, выслушав два коротких доклада-сообщения Мальцева – Арье, и понял, что, во-первых, о моей режиссуре и речи не идет и, во-вторых, как актер я (как, впрочем, и другие) только «обязуюсь, обязуюсь и обязуюсь…» Мне было предложено в двухнедельный срок заменить артиста Бориса Аханова и начать свою актерскую карьеру в «Гешере» с ввода в «Розенкранца и Гильденстерна», так как Борис Аханов – в прошлом артист театра Русской драмы в Риге – оставил «Гешер», подписав контракт с ивритоязычным театром «Хан» в Иерусалиме.

Я сел и от руки переписал роль с режиссерского экземпляра, который мне вручила помощница Евгения Арье. Она же должна была и осуществить этот ввод.

Все происходящее со мной в эту первую неделю казалось мне сюрреалистическим и дурным сном! Все свалилось одновременно: жара, жизнь на колесах, эти министерства внутренних дел, бесконечные анкеты, процедуры, интервью русскоязычным газетам, когда в голове у меня был «сумбур вместо музыки», – и вот тут-то на моем пути возник змий-искуситель в облике некоего Юрия Хилькевича.

В нашем московском кинематографическом кругу знали одного Юрия Хилькевича – одесского режиссера, постановщика «Трех мушкетеров», «Опасных гастролей» и других боевиков. Поэтому когда за три дня до нашего отъезда из Москвы, в последние, уже судорожные дни раздался телефонный звонок и Юрий Хилькевич стал расспрашивать о моих делах и творческих планах, я объяснил одесскому кинорежиссеру, что в связи с моим отбытием в Израиль я, к сожалению, не могу даже выслушать его предложений.

– Зашиваюсь, Юра, извини – сам понимаешь.

– Так я про Израиль с тобой и говорю. Не съемки, а театр, не «Гешер», а тель-авивский Камерный, не по-русски, а на иврите: роль Тригорина в «Чайке» в постановке Бориса Морозова.

– Какой иврит? Какой Морозов? Какая, к черту, «Чайка» – о чем ты, Юра?! Ты Юра или не Юра? Хилькевич или не Хилькевич?

– Я – Юрий Хилькевич, в прошлом – замдиректора Малого театра, ныне работающий в дирекции тель-авивского государственного Камерного театра.

Разобравшись наконец во всей этой путанице, я рассмеялся:

– Юра, спасибо тебе, но, по-моему, все это абсурдно. Я в иврите ни в зуб ногой.

– Ну и что? – последовал спокойный ответ. – И Ирина Селезнева еще полгода назад была ни в зуб ногой. А сейчас играет моноспектакль на иврите и даже приз за исполнение роли получила, израильской звездой стала, а ты чем хуже? Кстати, она твоей партнершей, Ниной Заречной будет, и Боря Морозов очень рад твоему будущему участию в его израильской «Чайке».

Такой, стало быть, разговор еще в Москве состоялся. Разумеется, мне все это тогда показалось смешным и несерьезным. Я вежливо отказался от лестного предложения израильского гражданина Юрия Хилькевича. Поговорили – я и думать забыл. Но вот в Тель-Авиве змий-искуситель сразу же напомнил о себе и предложил мне вкусить от древа то ли добра, то ли зла – по сей день не разберу. Договор, предложенный мне Камерным, обеспечивал зарплату на год, всевозможные отчисления на пенсию и прочие материальные блага, показавшиеся мне, по сравнению с «Гешером», сказочными…

И вот я сижу в кабинете замдиректора Камерного, у человека по имени Ори Леви, и Юрий Хилькевич переводит мне с иврита условия договора. «Камерный театр обязуется, обязуется, обязуется…» Все это звучит как песня. Если б не одно, несколько смущающее меня обстоятельство: через какое-то время я должен буду изобразить писателя Тригорина на иврите и сделать вид, что понимаю, что говорю, если мне каким-то чудом и удастся выучить и выговорить на пугающем меня «ирокезском наречии» «текст слов» упомянутого господина.

Словно в гипнотическом сне, я подчинился воле Хилькевича, доверил ему вести на иврите переговоры с серьезным лысым израильтянином, неодобрительно поглядывавшим на меня через очки. Если я неожиданно встреваю с какой-нибудь русской репликой, почему-то мне постоянно слышится слово «мудак», обращенное Ори Леви явно в мой адрес. «Юра, а почему он меня мудаком называет?» – робко спрашиваю я, хотя, вероятнее всего, господин Леви был не так уж не прав – раз я вот-вот собираюсь подписать соблазнительный договор, который может обернуться для меня прямой погибелью и позором. «Вот уж тележку под меня подвели», – почему-то вспомнилась мне реплика из «Ревизора»…

Оказалось, что господин Леви вовсе и не думал оскорблять меня, так как, во-первых, слова «мудак» он, разумеется, не знал, а во-вторых, «муд’аг» на иврите означает «озабочен». Леви почувствовал мое «муд’агчество» и вполне доброжелательно хотел выяснить у Хилькевича, чем таким особенным озабочен этот сидящий перед ним русский артист.

А на самом деле, чем? Всего-то надо – выучить с помощью учителей, которых предоставит и оплатит Камерный театр, лишь одну, и не самую главную, роль в «Чайке», которая, надо полагать, не в новость русскому артисту. Три месяца до первой репетиции в театре – срок более чем достаточный, чтобы всю пьесу выучить наизусть, никаких других обязательств у артиста не будет… Ну, срепетировать и сыграть только останется; режиссер – русский, партнерша основная – русская. Акцент? – так и пьеса-то русская, простят, здесь не в новинку такое. Вся «Габима» с русским акцентом шпарила когда-то, но зато какие актеры были! Сердца потрясали! А этот, как его, Козаков, сидящий сейчас в кабинете, судя по рекомендациям, тоже был в России не из последних. Эмигранты его знают, даже те, кто лет двадцать назад приехал, помнят его, абонементы и билеты приобретут – прямая выгода, опять же «помощь руководства Камерного театра в абсорбции алии из России»… Ну а не выучит роль – тоже не беда, заменим, времени до премьеры предостаточно, с деньгами риск невелик, театр на дотации, и министерство абсорбции денег на «олима» выделит. Так чего он, собственно, «коль ках муд’аг», этот ваш протеже? Пусть подписывает хозе (договор) и не путает хозе с хазе (договор с женской грудью).

И протеже подписал-таки прельстительную бумагу. Змий-искуситель добился своего.

По обоюдному согласию, без скандалов и ссор, было покончено с «Гешером». На совмещение Арье не пошел, да и мне уже это было непросто – две роли на двух языках… Я, правда, честно предложил, но они отказались, полюбовно расстались, развелись, не поженившись. Помолвка расстроилась. По чьей вине? Абсорбция, едри ее в корень!

Неблагодарное это занятие – описывать мое состояние, когда долбил я роль Тригорина на иврите. Да и стоит ли? Кому интересны все эти адские муки, припадки страха, бессонные ночи, истерики, депрессии и вся абсурдность и опасный авантюризм предпринятой затеи. Но когда теперь, спустя четыре года, я вспоминаю первые пять месяцев до премьеры «Чайки», именно эти чувства заполняют собой все пространство воспоминаний. Ни дивный просторный пентхаус на улице Баруха Спинозы, в двух шагах от театра, ни море в двенадцати минутах ходьбы от дома, ни все эти йогурты, сосиски, колбасы, сыры, торты и прочие гастрономические прелести, ни сигареты разных марок – кури не хочу! – ни кофе, с лимоном и без, ни разные сорта дешевой водки и пива, ни шмотки, ни даже все это детское питание – нет, не эти «радости» ассоциируются с этими первыми месяцами абсорбции.

Страх и паника, сонная одурь, когда сидишь за столом и долбишь, долбишь, долбишь; в сотый, тысячный раз переписываешь от руки транскрибированную по-русски роль Тригорина, а главное – тоска, Боже праведный, какая давящая тоска! И постоянный, бессмысленный вопрос себе самому: зачем все это? Кому это надо? Как это могло с тобой случиться?

Не знаю, испытали ли нечто подобное Ирина Селезнева, Борис Аханов, а потом и остальные актеры «Гешера», когда они переходили на иврит… Я испытал. И Боже сохрани меня посоветовать кому-либо еще из моих русских коллег повторить мой опыт. Как говорится, и врагу не пожелаю.

Тогда же, при долбежке пространных монологов Тригорина о превратностях писательской судьбы, мне пришла в голову такая сценка-метафора. Давайте представим, фантазировал я, объясняя мое состояние кому-либо из русских, что я знаменитый и многоопытный пианист. Меня спрашивают: «Вы могли бы выучить бетховенский концерт?» – «Конечно, – отвечаю я, – сколько времени вы мне дадите?» – «Три недели». – «Немного. Впрочем, я готов». – «Отлично. У вас есть своя скрипка или воспользуетесь нашей?» – «Позвольте, при чем тут скрипка?» – «Бетховенский концерт – скрипичный». – «Вы что, меня

разыгрываете? Я пианист, понимаете, пианист!» – «Но вы же музыкант, и музыкант, как мы слышали, знаменитый. К тому же Бетховена уже исполняли». – «Ну и что? Сорок лет я бегал пальцами по клавиатуре – я в руках скрипки не держал!» – «Все новое для художника страшно интересно. Вам предстоит узнать еще не познанное! Это продлевает жизнь!» Тут-то и закавыка – продлевает или сокращает? Во всяком случае, не украшает – это уж точно.

Приведу лишь обрывочные записи из дневника лета 91-го года…

Четырнадцатое июля: «Я в стране ровно 18 дней. Знаю наизусть все пять тригоринских фраз из первого акта, где он молчит как рыба… но дальше его понесет монологами. Боже!»

Двадцать второе июля 91-го, 13 часов дня, после 12-го урока с учительницей Ларисой: «Что я знаю из роли? Пять первых фраз говорю почти свободно. Пытаюсь интонировать со смыслом, тогда забываю слова. Есть акцент. Если посмотреть оптимистично, то и всю громаду роли освоить, в принципе, можно. Мне ставят в пример Селезневу, между прочим, чисто русскую, приехавшую сюда с мужем-евреем, но она до своего моноспектакля на иврите как-никак проучилась в ульпане три или четыре месяца. Она моложе меня, как говорят евреи, “на субботу”, несомненно, более способна к языкам и, конечно, целенаправленней, чем я. Я же показываю Хилькевичу и другим видеокассету “Тень”, моноспектакль по Бродскому, веду деловые пока бесполезные разговоры про режиссерскую работу, прихалтуриваю русскими концертами (куда денешься – семья!), ищу выходы и опоры в новой стране, в которой я еще меньше месяца, к тому же, как это ни грустно, я лишен настоящего тыла и дома. Мы живем в роскошных условиях, в пентхаусе, но все это временно, в долг; это аванс, за который мы заплатим сполна, и расплата будет ужасной. Бедный, бедный Мишка-маленький! Главный мой страх – за него. Что делать и кто виноват? Виноват я – струсил и бежал из России в поисках лучшей жизни. Что делать?! Бороться, как Иаков».

Перечитываю дневник. Даже августовский путч в Москве 91-го для меня, в сущности, ничто в сравнении с неподдающимся абзацем роли на иврите! Выученная и произнесенная вслух без ошибок сцена с Аркадиной – победа не меньшая, чем победа демократов у Белого дома. Может, я наговариваю на себя ради красного словца? Нет, своя рубашка ближе к телу.

И хотя все мы читали газеты, смотрели телевизор, перезванивались друг с другом и связывались с Москвой, где у всех друзья, родственники, все происходившее там воспринималось мной уже «через здесь». Когда показывали «Лебединое озеро», я невольно думал о том, как же вовремя мы слиняли. Нет, в России в корне ничего не может измениться к лучшему, там всегда будет «неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем – фашизм», – прочел я потом у Юрия Нагибина. Нечто подобное думал и я. И в августе 91-го, и в октябре 93-го. Да что врать-то – увы! – продолжаю так думать все четыре с лишним года, когда смотрю новости из России по двум каналам телевидения.

Однако Бог милостив – тогда, в 91-м, единение народа, к нашей всеобщей радости, остановило танки путчистов, и я вновь вернулся к моим абзацам на ненавистном мне ивритском языке…

Как это у Чехова в «Чайке»? «Каждый пишет так, как он хочет и как может». А на иврите? «Коль эхад котев лефи рецоно укфи ехольто». Похоже, не правда ли?

Когда я услышал впервые тригоринскую реплику первого акта из уст моей учительницы Ларисы, у меня похолодело в животе.

– Записывайте!

– Как?

– Разумеется, русскими буквами.

– Лариса, с таким же успехом я могу сейчас записать звук проходящей за окном машины.

Однако записал, а потом и выучил наизусть все эти «зхует ха-адам» – права человека, «ха-иньяним нидгальгелю» – дела обернулись и «вэхулей, вэхулей, вэхулей» – и прочее, и прочее, и прочее…

«Ани эбадети чекдахуй» – я потерял отсроченный чек. Каково? Ну просто музыка для русского уха.

– Вам повезло, что вы должны играть Тригорина не на арабском, – сказала мне моя другая учительница, замечательная Бэллочка Хасман.

– А что, тот язык еще матерней?

– Во много раз! – утешила она меня.

Успокоенный таким образом, я продолжал записывать русскими буквами ивритские абзацы тригоринской речи. Составлял словари, выяснял у Бэллочки значение каждого слова, надиктовывал ивритский текст на магнитофон, снова учил, учил, учил, как попка-дурак повторял, повторял, повторял вслух сотни, тысячи раз одно и то же. Стал предметом раздражения моей жены, которой осточертела моя бубнежка, обозлил знакомых, насилуя каждого, кто мог проверить меня и помочь мне.

Даже бывая в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, я не мог молиться, просто тихо ставил свечу. «Твоя молитва к Богу – твой текст на иврите», – сказал один мой знакомый. Я никогда не мог понять, как это, например, Зяма Гердт вел «Необыкновенный концерт» на всех языках мира, как умудрился Игорь Костолевский выучить роль на датском, Олег Янковский – сыграть во Франции роль на французском. Что же я – самый бездарный и бестолковый? Однако если зайца долго бить, то и он научится спички зажигать.

Четвертое октября 1991 года, когда в Камерном театре состоялась первая репетиция «Чайки», которую вел московский режиссер Борис Морозов, я выпалил весь текст роли Тригорина наизусть, да еще и с выражением. И тогда я удостоился первых моих в Израиле аплодисментов на иврите…

«Каждый пишет так, как он хочет и как может». «Каждый пишет, как он слышит, каждый пишет, как он дышит». Каждый дышит, как он может дышать, насколько ему дышится – привольно и естественно в той атмосфере, которой он окружен, которую он выбрал, в которую попал. Я попал в атмосферу израильского государственного Камерного театра. В центре Тель-Авива, на углу Дизенгофф и Фришман, стоит большое здание. Оно чем-то напоминает Пассаж. Там, на первом этаже, и размещены, как в Пассаже, магазины одежды, очков, компакт-дисков, книг. А на втором и выше находится Камерный, со всеми служебными помещениями, мастерскими, кассами, бухгалтериями, а главное, с роскошным залом на девятьсот с лишним мест. Есть гримерные, буфет, большой

репетиционный зал, где иногда идут камерные спектакли, – именно там мне суждено будет поставить и сыграть «Любовника» Гарольда Пинтера, сначала на русском, а затем и на иврите. Но это потом, потом.

Еще в декабре 90-го, в свой первый приезд в Израиль, на фасаде Камерного я увидел витрину с рекламными фотографиями. Я тогда даже не знал, что он называется Камерный. Мы наш спектакль-концерт играли в подвальном театре «Габима», однако цветные рекламные фотографии на Фришман привлекли мое внимание. Подошел и стал разглядывать яркие «фотки»: плохо приклеенные парики и бороды, неестественные выражения лиц. Все преувеличено: улыбка – так до ушей, удивление – так брови у темени. Во всем что-то уже виденное на театральных фотографиях восточной провинции 40-х и 50-х годов где-нибудь в Ташкенте. Были и костюмы типа русских, отдаленно напоминающие чеховское время, тоже какие-то невсамделишные, актеры в них смотрелись ненатурально, и вся витрина – аляповатая, безвкусная.

Я не стал задумываться и пошел себе по своим делам. Но неприятное послевкусие осталось. Я не знал тогда, что Камерный уже возил в Москву один из рекламируемых на этой витрине спектаклей – «Шира» – по роману классика и лауреата Нобелевской премии Шая Агнона, поставленный режиссером Йорамом Фальком, с которым спустя еще два года мне придется столкнуться в работе над инсценировкой другого романа Шая Агнона – «Вчера, позавчера».

Но не будем опережать события. Полезней сейчас вспомнить впечатления от одного-единственного израильского спектакля, который мне удалось увидеть еще в Москве, до моей эмиграции в эту цветную и аляповатую витрину Камерного. Прославленная «Габима» показала в 89-м году в Москве два спектакля: «Закат» Бабеля в режиссуре гражданина Израиля Юрия Петровича Любимова и еще один – кажется, «Полосатый тигр», который мне удалось увидеть воочию в здании новой Таганки. «Тигр» показался мне скучным, средненьким спектаклем без актерских и режиссерских удач. Запомнился настоящий песок на сцене, по слухам, доставленный со Святой земли.

Помню в фойе Таганки израильских теле- и радиокорреспондентов, выискивающих популярные русские лица. Один – Иоси Тавор, говоривший по-русски, – обратился и ко мне, но я отвертелся и о своих впечатлениях промолчал. Потом, так уж случилось, я был на банкете в честь «Габимы». В еще не сгоревшем клубе ВТО на Горького мы устроили израильским актерам маленький прием.

Все это не стоило бы воспоминаний, если бы я не писал эту книгу, сидючи в Тель-Авиве, пытаясь теперь разобраться в израильском менталитете и обстоятельствах, в которые меня угораздило вляпаться по самые уши. Мог ли я предположить, что артист, игравший в «Тигре» и чем-то отдаленно, чисто внешне, напоминающий нашего Рубена Николаевича Симонова, – один из самых-самых в Израиле – Йоси Банай и что израильская пресса задаст спустя два-три года читателю вопрос: «Что бы вы подумали, если бы Йоси Банай решился бы в его возрасте и при занимаемом им положении уехать из Израиля и начать все с начала в другой стране? А вот господин Козаков именно так и поступил, переехав из России к нам в Израиль».

Да, вот как я умело распорядился своей актерской судьбой. Но тогда в Москве на всех этих приемах, банкетах я чувствовал себя еще самим собой и думать не думал об этих «лестных» параллелях с израильскими звездами первой величины. В несгоревшем, любимом актерском клубе ВТО мы выпили с Йоси Банаем рюмку водки, и переводчик перевел ему мои ничего не значащие слова, объяснив, кто я такой, что, разумеется, ему было вполне безразлично…

Живя в Москве, я не был знаком с израильским искусством: я не видел ни одного фильма, не читал ни одной книги, переведенной с иврита, понятия не имел об израильской музыке, живописи, балете, опере, не читал ни одной израильской пьесы. Мало того, я не проявлял интереса ни к московскому театру «Шалом», ни к какому-либо другому еврейскому театру из советской провинции. Это не было проявлением снобизма, отнюдь. Услышь я от кого-нибудь, что спектакль «Шалома» талантлив и всерьез заслуживает внимания, я не преминул бы его посмотреть. Но таковых рекомендаций не поступало, и я предпочитал замечательную «Поминальную молитву» Марка Захарова в оформлении Шейнциса спектаклю на идиш.

Американский мюзикл «Скрипач на крыше» с Хаймом Тополем в роли Тевье – это да! Тевье – Ульянов – конечно! Слава Стржельчик в роли старика Соломона в пьесе Миллера «Цена» в БДТ – прекрасно! Сам поставил на телевидении в 89-м году «Случай в Виши» Артура Миллера и сыграл там еврея Ледюка, мечтал поставить «Блуждающие звезды» Шолом-Алейхема. И «семь сорок» в ресторане плясал, и «хава нагилу» – пожалуйста. Но что она означала, эта «хава нагила», понятия не имел. Впрочем, наверное, не один я.

Андрей Гончаров, узнав, что я уехал в Израиль, сказал: «Но это же просто смешно – как он там будет Тригорина играть на идиш?» Не только Андрей Александрович, думаю, и многие другие даже не догадываются, что в Израиле на идиш не только почти не играют, но общаются на нем лишь старики, которых становится, увы, все меньше и меньше. И хотя в Тель-Авиве есть площадь имени Михоэлса, но спросите прохожего: кто он, этот Михоэлс, – сомневаюсь, что прохожий сумеет дать вам правильный ответ. Ныне покойный Григорий Моисеевич Лямпе, приехав в Израиль, сокрушался, что прекрасный идиш и идишская культура в современном Израиле обречены на вымирание. Гриша еще успел поиграть на идиш в одном-единственном в Израиле идишском театре, где половина израильских актеров, не зная идиш, выучивают на нем роли точно так же, как мы на иврите.

Поразительная страна Израиль! Здесь можно прожить жизнь, не зная вообще ни одного языка, кроме своего родного, каким бы он ни был: румынским, русским, польским, французским. Об английском уже не говорю. Договоришься, разберешься как-нибудь. Всегда и всюду найдется кто-нибудь, кто знает твой язык и поможет, переведет. В ходу анекдот: «Какой язык в Израиле скоро будет объявлен вторым государственным? – Иврит». Имеется в виду, что первым станет русский. Каждый пятый в Израиле из России. Добрались мы и до театра, до Камерного в том числе. Юрий Хилькевич первый прорвал оборону, и вот в гримерном цехе, в пошивочной, в буфете за стойкой – везде родная русская речь. С появлением Селезневой и Морозова, Бэллы Хасман, переводчицы Бориса и моей училки, меня в «Чайке» великий и могучий зазвучал и в репетиционном зале национального Камерного, созданного когда-то в полемике с «русской» «Габимой». Вот уж правда: «нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака!..»

Но это еще не все. Выяснилось, что некоторые израильские актеры Камерного театра разумеют нашу мову. Откуда? Оказалось, один из Болгарии, другой из Польши, третий из Румынии. Ну а вы-то, дорогой Натан Коган, откуда у вас такое блестящее владение русским? «Мишенька, голубчик, я знаю еще семь языков, а русский выучил в Баку, где провел несколько лет в далеком детстве, и ужасно рад, что теперь могу на нем с вами попрактиковаться. Ах, что это за язык!» И милейший восьмидесятилетний старик что-то процитировал из Пушкина. Любимая его присказка, когда он ругает дирекцию Камерного: «Я положил на них дом, дачу и кое-что в придачу». Ну а уж «лэх кэбе-немат» – это знает каждый израильский школьник еще от своих предков, пионеров государства Израиль.

Так что еще вопрос, кому надо пожелать счастливой абсорбции. Когда же по театру разнесся слух о приезде на постановку Марка Захарова и Олега Шейнциса, мы услышали знакомое словосочетание, пока еще звучащее весьма беззлобно и шутливо: «русская мафия». Крестным отцом ее, разумеется, можно считать Юрия Хилькевича, который, видимо, не шутя решил устроить в Камерном русские сезоны, добиться успеха и стать в этом театре незаменимым руководителем. Я оказался – не скажу пешкой, но не более чем слоном в его шахматной партии…

Спустя четыре с лишним года, прошедших с репетиций и премьеры морозовской «Чайки» в тель-авивском Камерном, я силюсь вспомнить что-то из происходившего тогда, достойное описания, напрягаюсь и – не могу! А ведь каждый готовящийся к показу спектакль, в том числе и наша «Чайка», – это споры, мучения, столкновения амбиций, самолюбий, искания, волнения. Разумеется, все это имело место быть и у нас. А что в результате? Морозовская «Чайка» добросовестно пересказала сюжет этой загадочной комедии Антон Палыча, все было более чем обычно культурно, грамотно, актеры произносили текст, плакали, кричали, ссорились на сцене, делали вид, что сгорают от страсти, и носили свои пиджаки и галстуки. Нина Заречная объявила, что станет великой актрисой, а Константин Гаврилович Треплев застрелился. Доктор Дорн попросил Тригорина увести Ирину Николаевну Аркадину. На премьере хлопали, русские бабушки принесли нам с Селезневой уйму красивых букетов. Борис Морозов выходил на поклон. Потом в театральном буфете отметили первый спектакль (официальная премьера в Израиле бывает спустя несколько спектаклей), выпили водки и вина из бумажных стаканчиков и разошлись по домам.

Сыграли мы нашу «Чайку» всего 45 раз. И сезона не отлетала наша «Чайка»… Но в Израиле это не провал. Вот когда «Отелло» в «Габиме» прошел шесть раз и был снят – это действительно провал. А ведь в нем были заняты два «народных артиста» Израиля – Йоси Поллак и Йоси Банай, уже появившийся на страницах моей книги. А что же тогда настоящий успех в Израиле? Когда все ломятся на спектакль, говорят о нем, очереди стоят ночами, рецензии во всех газетах, поздравления и зависть коллег?! Такого здесь не бывает. Я, по крайней мере, не видел ни разу, даже не слышал о чем-либо подобном. Зато время от времени возникают так называемые шлягеры (в иврите есть это слово, как и другое, русское – халтура, в привычном нам значении «приработок»).

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Текст письма предоставлен К. М. Козаковым и публикуется впервые с сохранением особенностей авторской пунктуации. – Примеч. ред. (с. 25)

2

Познер родился в Париже. – Примеч. ред.

3

Збаский умер в 2016 г. в Нью-Йорке. – Примеч. ред.

Купить: https://tellnovel.com/kozakov_mihail/tretiy-zvonok

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити